



В. В. РОЗАНОВ

Памяти Вл. Соловьева

Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьева самый яркий за истекшую четверть века светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его миросозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем — эклектического *; но в каждую минуту борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственных и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьеве выше его учений — его личность. Учения его менялись; но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горним устремлением мысли, с высшими историческими и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель.

В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похо-

* В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьева и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово “эклектизм” вы заменили бы словом “синкретизм”». Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьева, не отвергая ее, хотя и не настаивая на ней. Своего, зиждущего не было так много у Соловьева; соединяя чужие части в новую храмину, был ли он эклектиком? синкретистом? — ужасно трудно сказать. Во всяком случае, в усилиях соединить он не был мертвенным; он не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фаусте он не вырос.

жа на печальный сон фараона, где тощие коровы пожирают тучных¹. Пришли какие-то тощие умы, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле: «Не надо...» И «ненужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть раздраженный, наверно опечаленный; и, может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых, вырвалось у него как ответ на это «не надо»... «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антируссиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.

Навсегда останется прекраснейшим в Соловьеве его высокая мечтательность. «Вот человек-сухарь», — говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьеве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходки), комментатор и наряду с этим, в глубокой с этим гармонии — первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой сложности духовного образа — его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что задушевнейшее его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал и что произносилось ad publicum²; другого, по нежности и робости, он не говорил — стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию, как любят свободу, и еще он любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворений его отметим как прекраснейшие — «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 году об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:

Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключавшие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений, —
Избранных, как прежние, — уж почти не стало.

Вещие свидетели жизни пережитой,
Выувековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли сокрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.

Мир же вам с любовию, старческие тени!
Пусть блестят по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало³.

Стихи его так хороши, что хочется их цитировать и цитировать как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое — не истинно, а все истинное — невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего оружия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Например, вот его «Око вечности»:

Одна, одна над белою землею
Горит звезда.
И тянет вдаль эфирною волною
К себе — туда.

О нет, зачем? В одном недвижном взоре
Все чудеса.
И жизни всей таинственное море,
И небеса.

И этот взор так близок и так ясен, —
Глядись в него,
Ты станешь сам — безбрежен и прекрасен —
Царем всего⁴.

Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьев, по виду относясь шутливо к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и неясные движения его души. Прозу надо *доказывать*, а главное (в мире и в душе) — недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «Отшедшим» (усопшим):

Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханье вечности грядущая весна.

Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам⁵.

Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мирам иным», мирам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзии здесь именно и поднимаются. Поэзия может быть, и у Соловьева она и была, недоказуемою философию, «метафизикою», то есть тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле.

Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь недоставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаясь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример из области действительности. Так случилось и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин со своей печальной семейной историей запутался в эти идеи, как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьева не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее. Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бессильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.

Соловьев оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философией и богословием, *теософия* в обширном, а не специальнном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин, и особенно двое Трубецких, суть талантливейшие из его полуучеников, полуследователей. Вообще в Соловьеве было многое бродила, за-

кваски; мысли его колебались или были неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.

Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были практические и не могли взволновать *практические* интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское — загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать в 20, 40, 60, 80-е годы? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в семнадцатом или девятнадцатом веке, будет возбудительна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономических или пуританских идеях. Но Россия? Но русское общество? По-видимому, такою почвою у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки *провинциальным* явлением в русской литературе, а не *коренным*. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, либеральное, то есть просто *бессодержательное* и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас *определиться*, сузиться в *доктрину*, в маленькую религию ума и сердца — просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», — по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно.

Нам нужно ждать *событий*. Литература может вырасти только из событий, и, собственно, все писатели, которые *томятся*, — томятся о событии, о бытии как роднике *идей*. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?» И под Соловьевым не было *непоколебимого* события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», — упрекал пророк человеков; мы же, или те из нас, кто не лежит плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьева, и окончательная правда его сердца состояла в том, что он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной темы, конечно, просуществует некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все — *безосновательно*, все *безбытийственно* пока у нас; и нет, конечно, основания *быть* его школе.

Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежат о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае, теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратить к нему не одно общее всем людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «Прости» ...

